



# Владимир Войнович

Дело №34840

*ФТМ*



# Владимир Николаевич Войнович

## Дело № 34840

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=154635](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=154635)*

*Замысел: Эксмо; Москва; 2004*

*ISBN 5-699-08029-5*

### Аннотация

Эта серия состоит из трех книг, написанных в разное время, но она едина и каждая ее составная есть часть общего замысла. При подготовке книги к печати я думал, не осовременить ли текст, убрав из него какие-то куски или детали, которые сейчас могут казаться неважными, устаревшими, и добавив новые пояснения, уточнения. Но потом решил, что подобное исправление текста задним числом может помешать читателю почувствовать атмосферу того времени, когда все это было написано. Так что пусть все останется как есть.

# Содержание

Междусловие	4
Введение в тему	7
Манциг цванциг	9
Есть желание встретиться	21
Конец ознакомительного фрагмента.	28

# Владимир Войнович

## Дело № 34840

*СОВЕРШЕННО НЕСЕКРЕТНО*

*НАЧАТО 11 МАЯ 1975 ГОДА*

*ОКОНЧЕНО 30 МАЯ 1993 ГОДА*

*ЗАКРЫТО НЕ ЗАКРЫТО*

### Междусловие

Я давно заметил, что человек, начинающий вопрос словами «правда ли», почти всегда предвкушает согласие и бывает разочарован ответом противоположного свойства. Так была разочарована однажды французская журналистка. Она спросила меня: «Правда ли, вы пишете всегда только о том, что случилось с вами лично?» – и занесла ручку над блокнотом, чтобы записать мой утвердительный ответ. И была неприятно удивлена, услышав ответ: «Нет, неправда».

На самом деле я всегда считал, что по-настоящему художественным может считаться только литературное произведение на вымысле. Где вообразенные автором герои действуют в придуманных им обстоятельствах. Это, может быть, странно, но ни один из реально существовавших людей, каким бы ярким он ни был в жизни, будучи описан в литературе, не может сравниться с вымышленными персонажами

вроде, например, Дон Кихота, мадам Бовари, Швейка, Обломов, Плюшкина или Коробочки. Свои собственные честолюбивые планы и надежды в литературе я всегда связывал с сюжетами, основанными только на вымысле, и вполне вероятно, что вообще никогда не склонился бы ни к какой документалистике, живи я в другом обществе, при другом политическом строе. Но с самого начала моей литературной карьеры государство в лице своих разного калибра функционеров стало вмешиваться в мою жизнь, мешало работать, прерывало исполнение замыслов, предъявляло мне бессмысленные и совершенно неисполнимые требования и временами делало мою работу и жизнь невозможной. В конце концов, защищаясь от всех этих интервентов в мою душу, я как бы сказал им мысленно: ну хорошо, вы не даёте мне описывать вымышленных героев в вымышленной реальности, давайте я буду описывать вас и такими, как вы есть. Я вам покажу, что писатель не столь безобидное существо, как вам кажется. Я вам преподам такой урок, какой вы никогда не забудете. Так родилась «Иванькиада». Может быть, именно эта работа стала первым толчком к возникновению замысла книги «Замысел», во всяком случае к замыслу общему она имеет самое прямое отношение. «Дело № 34840» было задумано как эпизод книги «Замысел». Она, собственно, и есть эпизод, может быть, несоразмерно разросшийся. Но несоразмерность разных частей не противоречит общему замыслу. Короче говоря (и об этом сказано выше), весь текст, помещенный под

данной обложкой, это не сборник повестей, а единая книга – «Замысел». Содержание которой, как я и обещал когда-то, будет постепенно меняться по мере продолжения жизни автора и закончится вместе с ней. А теперь – за дело. За «Дело № 34840».

# Введение в тему

Ниже излагается история одного покушения, совершенного Комитетом госбезопасности СССР в 1975 году, и рассказ о расследовании, на которое автор потратил ровно восемнадцать лет.

Сама история была в свое время описана, но ожидаемого эффекта не произвела, поскольку состояла из фактов, в которые одни просто не верили, другие верить боялись, третьи не хотели, четвертые, когда заходила речь или сами ее заводя, помогали не верить первым, вторым и третьим. Автор оказался в положении джеклондоновского персонажа, которого соплеменники побили камнями за небылицу о том, будто белые люди плавают по морю в железных посудинах. Соплеменники знали точно, что железо не плавает.

Трудность усугублялась еще и тем, что иные даже косвенные доказательства своей правоты автор не мог полностью привести из опасения повредить некоторым людям, кое о чем вынужден был помалкивать и предпочитал не раскрывать своих ближних и дальних намерений.

Теперь, когда детективный сюжет развился, дотянувшись до наших дней, а в прежних умолчаниях проку не стало, автор решил изложить всю историю целиком, как она случилась тогда, с описанием обстоятельств, в которых она происходила, событий, за нею последовавших, с добавлением по-

дробностей и документов, полученных в результате расследования, приведшего в конце концов к раскрытию тайны, которую хранил в свое время КГБ и изо всех сил пыталось сохранить нынешнее Министерство безопасности России.



# Манциг цванциг

4 мая 1975 года было тем самым Светлым воскресеньем, про которое народом или каким-нибудь членом Союза писателей была сочинена частушка:

Слава партии родной  
За любовь и ласку,  
Отобрали выходной,  
Обосрали Пасху.

Для идеологического отдела ЦК КПСС даты совпали исключительно удачно. 1 и 2 мая официальный праздник, третьего – нерабочая суббота, а выходной с четвертого мая перенесли на десятое, чтобы, утопив религиозное чувство в патриотическом угаре, дать народу возможность три дня гулять по случаю тридцатилетия Великой победы, а следующее воскресенье 11 мая объявить снова рабочим днем для окончательного сбития с панталыку.

Возможно, изобретателю такой передвижки была объявлена благодарность, а если им был лично главный идеолог страны Михаил Андреевич Суслов (кто его помнит сегодня?), тут не думаю, чтоб обошлось без какого-нибудь высокого ордена.

Утром в половине девятого в моей комнате вкрадчиво за-

журчал телефон.

Полдевятого утра – время, в которое люди нашего полубогемного образа жизни друг друга не поднимают. Мы все обычно поздно ложимся и поздно встаем. А вчера я лег особенно поздно, засидевшись у Кости Богатырева на вечеринке по поводу приезда Костиного лагерного друга. Несмотря на свою постоянную бедность, Костя всегда и охотно что-нибудь праздновал: свой день рождения (два месяца тому назад как раз было пятидесятилетие), день рождения жены Лены Суриц, годовщину своего ареста или освобождения, какую-нибудь где-нибудь публикацию и даже книжную посылку из-за границы. А тут приехал из Донецка этот самый друг, который, несмотря на солидный (за пятьдесят) возраст и внушительную внешность, в узком кругу назывался Гришкой Агеевым и никак иначе. О нем я был уже наслышан от Кости: «Вот приедет Гришка, ты с ним обязательно должен встретиться, это чистый Чонкин. Между прочим, он спас мне жизнь. Один уголовник хотел проломить мне голову ломом, но Гришка подлетел и лом перехватил. Но интересен он не этим, а тем, что это чистый Чонкин».

И вот вчера звонок: «Если у тебя есть время, приходи. Гришка приехал». Я сказал «хорошо» и повесил трубку. Он позвонил опять: «Если есть что-нибудь выпить, то принеси, пожалуйста».

У меня, конечно, кое-что было. Мои первые публикации на Западе принесли не только неприятности, но и открыли на

короткое (очень короткое) время доступ к магазину «Березка», где скромных сертификатных гонораров хватало на всякие напитки, тогда еще очень дешевые: бутылка виски или джина стоила около одного сертификатного рубля (полтора доллара).

Моя жена Ира со мной пойти не могла: у нее на руках наша полуторагодовалая дочка Оля.

Прихватив с собой 0,75 тогда еще диковинного «Джонни Уокера», я отправился к Косте, который жил на Красноармейской улице, в ста шагах от меня.

Это были еще времена, когда приезжавших иностранцев удивляло, что русские, постоянно жалуясь на жизнь и отсутствие в магазинах чего бы то ни было, выставляют на стол невероятное количество всяких напитков и закусок. Да меня, признаться, задним числом этот феномен и самого поражает. Уж на что были бедны Костя и Лена, а и у них если званый ужин, то стол просто ломился от обилия выставленных на нем блюд.

Сейчас за столом кроме хозяев сидели Владимир и Лариса Корниловы, а в качестве главного гостя и главного угощения – Григорий Агеев, крупного (вдоль и поперек) сложения, с лицом смуглым, асимметричным, простоватым и плутоватым. Под столом находилось еще одно существо – фокстерьер Прошка, подобранный где-то Леной. Был он, как и хозяйева, довольно нервный, но в отличие от хозяев агрессивный; лежа внизу, он иногда по-своему реагировал на пове-

дение сидевших за столом, начинал вдруг зловеще урчать, а то и просто ни с того ни с сего вгрызался в ногу кого-нибудь из гостей. При этом знал, кажется, меру – ботинки насквозь не прокусывал.

Агеев сидел во главе стола, как именинник, но держался поначалу скромно и скованно, его еще не раскачали.

Он порадовал меня сообщением, что в Донецке благодаря отчасти его пропаганде многие люди слушали по Би-би-си три передачи по «Чонкину», а один из его друзей записал передачи на магнитофон, с магнитофона перепечатал и теперь распространяет среди своих.

Питье разливал Костя. Когда он наклонял над рюмкой бутылку, руки у него дрожали. Они у него всегда дрожали, и это с ним стало после Сухановки, пыточной тюрьмы, которую, как говорили, никто не выдерживал, а он выдержал.

Выпили, закусили, еще раз выпили, и Костя стал подбивать своего друга, чтобы тот рассказал о себе.

– Ну, давай, давай, – поощрял Костя. – На вот еще выпей для разгону. Ну, рассказывай.

– Да ну, – вяло и привычно, но всего лишь для проформы артачился Агеев, – чего там рассказывать? И рассказывать нечего.

– Расскажи, как ты попал в немецкий лагерь.

– Ну, как попал? Как все попали. Я тогда жил в Ростове, мне было семнадцать лет, и меня как раз только что призывали в армию. Меня, конечно, могли и не призвать, потому

что я был неблагонадежный. Мать у меня умерла, а отец, как мне говорили, был изъят органами НКВД. Но мне это удалось от народа скрыть. Я жил у тетки и о том, что мой отец изъят органами НКВД, никому не говорил. А даже наоборот, как хамелеон, маскировался под нормального советского юношу и в самодеятельности читал «Стихи о советском паспорте». За что меня, как наиболее преданного советской власти, и взяли в Красную Армию. Несмотря на то что мне было только семнадцать лет, и не зная того, что мой отец изъят органами НКВД. Но мне родину защищать слишком долго не пришлось. Когда немцы подошли к Ростову, товарищ Сталин, руководствуясь своими, значит, стратегическими замыслами, передвинул войска на заранее подготовленные позиции, и так передвинул, что вся наша дивизия, со всеми командирами и комиссарами, попала в «мешок». А наш политрук говорит: умрем, говорит, ребята, но живыми врагу не дадимся. Но сам знаки различия со своих петлиц спорол, чтобы остаться живым даже и после сдачи.

Ну, мне было, конечно, легче врагу отдаться живым, потому что я был не политрук и советскую власть, правду сказать, не любил. Почему не любил, не знаю. Может быть, на почве личной обиды. Потому что я был к тому времени уже сирота. Мать умерла, а отец был изъят органами НКВД. Что я, ясное дело, скрывал. Но когда немцы меня в плен взяли, стали, значит, расспрашивать, кто такой, я понял, что теперь скрывать ничего не надо, а надо наоборот. И на вопрос, кто мои

родители, я отвечал прямо: мать, говорю, так и так, умерла, а отец изъят органами НКВД. Только раньше изъятие отца было как бы минус, а теперь как бы плюс.

Вкусив, и как следует, «Джонни Уокера», Агеев раскраснелся, разошелся, теперь никакой скованности в нем вроде и не бывало.

– Немцы меня сперва из других прочих не выделяли и отправили в лагерь для военнопленных под Тихорецк. Ну, я там и был. А потом кто-то заметил, что возле меня все время народ. Где я, там толпа. Я им про советскую власть анекдоты рассказываю, какая нехорошая была власть, все в лежку лежат, смеются. Ну, немцы сразу заметили, что я человек влиятельный, с тенденцией к лидерству и вообще могу быть полезен. Тем более при таких биографических данных – отец изъят органами НКВД. Ну, значит, проходит какое-то время, вдруг вызывают меня к начальнику лагеря. А там сам начальник, какой-то еще эсэсовец и переводчик. Ну, опять стали расспрашивать, кто такой, откуда, где родители. Ну, я говорю, как есть: мать умерла, отец изъят органами НКВД.

– Как относишься к советскому режиму? – спрашивает эсэсовец.

– Яволь, – говорю, – к советскому режиму отношусь с большим отвращением.

– Ну что ж, – говорит, – мы тебя пошлем в Кенигсберг, там есть школа русских пропагандистов, которые согласны сражаться против коммунистов.

Ну, и направили нас в Кенигсберг. Меня и еще одного. Дали нам немецкую форму без погон, дали документы, талоны на еду. Поехали. Ехали сами. С пересадками. На станциях везде полевые кухни для немецких солдат и для таких, как мы. Пюре картофельное и сосиски.

Правда, порции маловаты. Немцы жаловались, что им недостаточно, а нам ничего, хватало. У нас с напарником было такое большое ведро, я подхожу к повару и говорю: «Манциг цванциг». То есть на двадцать человек. А он же мне не поверить не может, не может оскорбить меня подозрением, что я, такой приличный молодой человек, ему вру. И накладывает почти полное ведро. Ну, мы с напарником тут же за угол зайдем, по десять порций навернем, так еще ничего, жить можно.

Все это Агеев рассказывает с такими уморительными ужимками, что все хохочут, а больше всех Костя, открывая ряд стальных зубов, тускло сияющих, как патроны в обойме. «Манциг цванциг!» – повторяет он восхищенно и дергается в конвульсиях, словно слышит это впервые.

– Самое главное, – говорит он, утирая выступившие слезы, – что все это правда.

Агеев рассказывает дальше.

В Кенигсберге будущих пропагандистов направили в общежитие. Поселили каждого в отдельной комнате, завалили антисоветской литературой, дали карточки на еду, на парикмахерскую, на кино и публичный дом.

Ввиду присутствия дам, рассказывать о публичном доме Агеев не стал. Но зато рассказал об экзамене, который ему устроили как будущему антисоветскому политруку:

– Вхожу в комнату, там за столом несколько офицеров и один генерал. Важный такой генерал с моноклем в глазу, точь-в-точь как в кино. По-русски говорит, как мы с вами. Расспросил меня, кто я такой и откуда. Говорю, из Ростова, сирота, мать умерла, отец изъят органами НКВД.

– Очень хорошо, – говорит генерал. – То есть не то хорошо, что ваш отец изъят органами НКВД, а что вы придерживаетесь правильных представлений о сущности коммунистической власти. Ну, а какой вообще круг ваших знаний? Литературой интересуетесь?

– Яволь, говорю, ваше превосходительство, очень даже интересуюсь.

Генерал переглянулся со всеми офицерами, все довольны, все головами кивают, вот какого образованного человека нашли! Даже литературой интересуется.

– Хорошо, – говорит генерал. – Значит, книжки читаете. И кто же, если не секрет, ваш любимый писатель?

– Маяковский, – говорю, – господин генерал.

Генерал так удивился, что даже монокль у него из глаза как лягушка выпрыгнул.

– Кто? – говорит. – Маяковский? А какое именно произведение Маяковского вы любите больше всего?

– Поэму «Владимир Ильич Ленин».



Костя Богатырев правой рукой схватился за живот, а левой машет и, давясь от смеха, уверяет, словно сам он там был:

– И самое главное, это все правда. Он ведь ничего не выдумывает.

Все хохочут, кроме Прошки, который под столом начинает тихонько урчать, предупреждая нас о нашем плохом поведении.

– Интересно, – изображает генерала Агеев, – интересно. А писателя Достоевского вы читали?

– Так точно, господин генерал, читал.

– И что больше всего вам понравилось у Достоевского?

– Роман «Что делать?»! – прокричал Агеев, чем сразил в сорок втором году немецкого генерала, а в семьдесят пятом всех нас, сидевших за столом у Кости Богатырева. И прежде всего самого Костю.

Ясно, что карьера Агеева как пропагандиста не состоялась. Его и его напарника немцы зачем-то отправили обратно, и путь их назад был полон приключений. Сначала они попали в руки к бандеровцам, которые хотели их расстрелять как москалей и коммунистов. Гришка рассказал, как сняли с него немецкие яловые сапоги и, разутого, повели на расстрел, и уж, казалось бы, что может быть несмешнее расстрела человека, но рассказчик так все подал, что слушатели опять помирают со смеху, а Богатырев схватился за живот и корчится, словно у него приступ язвы. И опять, смахивая

слезы, подтверждает:

– Все правда, все правда! – будто при несостоявшемся расстреле лично присутствовал.

Расстрел не состоялся, потому что по дороге к месту казни Гришка убедил бандеровцев, что он сам украинец, но говорит по-украински неважно, потому что после изъятия отца органами НКВД попал в детский дом, где москали запрещали детям говорить на ридной мове. Кто-то из бандеровцев пожалел сироту, ему вернули жизнь и сапоги, взяли к себе на службу, на которой он пробыл два месяца с лишним.

– В конце концов, – сказал Гришка, – я к ним настолько вошел в доверие, – тут он приосанился и сделал значительное лицо, – что мне даже поручили ответственнейшее задание, в ходе выполнения которого, – на лице огорчение, – я и сбежал.

Тут Прошка не выдержал и вцепился Агееву в ногу, что (поскольку нога осталась цела) вызвало дополнительный взрыв смеха и предположение, не является ли Прошка агентом КГБ или цензором Главлита.

Агеев переместил ноги подальше от зверя и продолжил рассказ о своих похождениях и приключениях. Пока он возвращался в Ростов, город был отбит Советской Армией, куда его снова призвали. Но воевать ему не пришлось. В это самое время, сказал он, отбирали людей в дивизию охраны Сталина. На кавказском побережье для Сталина держали несколько дач, из них самая главная была на озере Рица. Новая ди-

визия и должна была эти дачи стеречь.

– Ну, естественно, – говорит Агеев очень серьезно, – туда отбирали людей кристальных, только с идеальными анкетами и чистейшими биографиями. Чтобы был обязательно из рабочих или крестьян, чтобы даже среди дальних родственников не было никаких репрессированных и чтоб сам никогда не был ни в оккупации, ни в плену, вообще, чтобы прозрачен был как стекло... вот почему я туда и попал, – заключает он свои рассуждения, отчего слушатели опять дергаются, сползая со стульев, а Прошка рычит.

Дальше был рассказ о том (и Костя, ссылаясь на свидетелей и подельников Агеева, божился, что и тут все чистая правда), как в дивизии по охране Сталина составила подпольная группа, ставившая себе целью убийство охраняемого объекта, лишь только он вздумает в здешних местах отдохнуть и расслабиться. Возглавлял группу секретарь комсомольской организации.

Входили в нее рядовые, сержанты, офицеры и штатские лица, включая даже нескольких девушек. Группа вынашивала разные планы от минирования дороги до снайперского выстрела. И все эти планы не состоялись только потому, что за много месяцев существования группы Сталин ни на одной из своих дач ни разу и не появился. В группе не нашлось ни одного стукача, и разоблачена она была случайно. А когда это случилось, чекисты просто ахнули: как же это они прозевали такой разветвленный заговор?

Обычно, когда им выпадало стряпать мнимое дело, они, для придания ему зловещего характера и масштаба, старались его всячески раздувать. Самого Костю, сказавшего что-то плохое о Сталине, судили, как за покушение, и первый приговор был – к расстрелу, а уж потом заменен двадцатью пятью годами. Но случаем Агеева и других, в самом деле замышлявших убийство Сталина и на суде нисколько своих намерений не отрицавших, начальство было настолько потрясено, что стало наоборот дело всячески заминать. Военный трибунал в Сухуми к расстрелу не приговорил никого. Всем дали по «четвертаку», но дивизию при этом расформировали, лишили знамени, старших офицеров – кого под суд, кого в отставку.

К концу вечера кто-то вспомнил о Пасхе. Религиозная Лена быстро собралась и ушла к всенощной, Корниловы – домой, а Костя и Агеев перебрались ко мне и здесь, перейдя с виски на водку, Агеев пытался прочесть свое изложение (стихами) «Анти-Дюринга», а Костя, восхищенный талантами друга, рассказывал, как тот в лагере изобрел и пытался построить миниатюрную подводную лодку, чтобы с ее помощью через какой-то канал со сточными водами бежать на волю.

# Есть желание встретиться

Телефон дребезжал, я руку к трубке тянуть не спешил, но звонивший был терпелив и настойчив.

Не переселись Владимир Максимов к тому времени в Париж, я бы подумал, что это он. На Пасху он всегда звонил раньше других и не соответствовавшим событию мрачным голосом возвещал: «Христос воскрес!» Чем заставлял меня неизменно врасплох. Я тут же начинал истекать суетливою мыслию: как? неужели опять Пасха? И что же отвечать? «Воистину воскрес»? А если я сомневаюсь, что воистину? А если даже не сомневаюсь, но язык мой деревенеет при необходимости произнесения любых ритуальных словес? В армии я всегда уклонялся от употребления уставных конструкций вроде «слушаюсь», «так точно», «никак нет», «не могу знать», а вместо «служу Советскому Союзу» норовил сказать «спасибо». За что выводим был из строя и наказуем несоразмерно провинности.

Оглядывая свою жизнь, могу сказать, что постоянное уклонение – в устной и письменной форме – от употребления определенных правилами слов и движений было причиной многих моих передраг, в том числе и исключения из советских писателей и фактического объявления вне закона.

Однако наступали новые времена, религия, переставая быть наркотиком для народа, в сознании многих постепенно,

но неуклонно вытесняла Передовое Учение, неофиты зверели и предписывали колеблющимся рапортовать четко, попионерски: «Воистину воскрес!» Причем именно «воскресе», а не «воскрес».

На максимовское «воскресе» я отвечал обычно: «Здравствуй, Володя», никак не в порядке вызова, а, наоборот, в замешательстве.

Но в этот раз звонил не Максимов, а некий обладатель голоса тихого и смущенного.

– Владимир Николаевич? С вами говорят из Комитета государственной безопасности...

Вторжения *органов* в мою жизнь я ожидал и раньше, а в последнее время тем более, потому что некоторые мои действия и даже само по себе мое существование нарушали ту идиллическую картинку, которая по *их* замыслу должна бы сложиться после предпринятых ими усилий.

К описываемому времени все *у них* вышло почти как надо. Диссидентство удушить полностью не удалось (и не надо, враг нужен для увеличения количества мест, зарплат, устройства на теплые места ближайших родственников и корешей, для получения званий, орденов, премий, квартир и прочего), но в литературе должны были наступить тишь да гладь. Солженицына выслали, Максимов и Галич уехали сами, кто там еще? Из оставшихся литераторов я у них, видимо, вышел на место врага номер один.

Прощенный за прошлое подписантство и даже одаренный

возможностью издать две книги повестей (а до того у меня была всего одна тоненькая книжонка), я скушал подачку и, не сказавши спасибо, погряз во враждебной активности, которая проявилась сначала в том, что не уступил квартиру свою всесильному их человеку, полковнику КГБ (а я-то думал, он генерал) Сергею Иванько, затем написал открытое письмо председателю ВААП Борису Панкину, защищал Солженицына, вылетел с треском из Союза писателей, и теперь состоялось мое главное преступление: на Западе вышел из печати «Чонкин». Вышел и не собирался пропасть бесследно. Уже «Свобода» читала роман для советских слушателей полностью, Би-би-си сделала три большие передачи, «Голос Америки» и «Немецкая волна» тоже новинку вниманием не обошли.

Еще до русского издания появилось шведское, было накануне выхода немецкое, книга переводилась на английский и прочие языки, о чем было известно не только, конечно, мне.

Могли ли *они* такое терпеть?

Не могли, хотя и пытались.

Когда меня исключали из Союза писателей, тактика была взята на замалчивание. Не было такого человека и нет. И всё. Поэтому полное молчание, и даже у «Литературной газеты», всегда оповещавшей читателей обо всех исключениях и сообщившей незадолго до того об исключении Лидии Чуковской, для меня не нашлось ни слова.

«Вы не знаете, как поживает Войнович?» – спрашивали

пытливые иностранцы кого-нибудь из секретарей Союза писателей СССР. Секретарь морщил лоб, тужился и отвечал на вопрос вопросом: «Войнович? А кто это?» Иногда даже мусолил пальцем список наличных членов и предъявлял спрашиваемому: видите, нет такого.

Власти делали вид, что меня нет, а я делал вид, что нет их, меня это более или менее устраивало, а их менее или более наоборот.

Но вот «Чонкин» появился на западном книжном рынке, а оттуда, отдельными экземплярами, стал просачиваться и сюда. С возмутительно оформленной обложкой. С изображением священной фигуры товарища Сталина в напыленном на него женском платье. Они были бы не они, если б стерпели и это. И вот:

– ...Государственной безопасности. Моя фамилия Захаров. У нас есть желание с вами встретиться. Если бы вы могли найти несколько минут времени...

Исключительно для проформы, чтобы отстоять свое никем не подтвержденное право на независимость поведения, спросил я: а что, по какому, собственно, делу, и получил ожидаемый ответ, что дело хотя и короткое, но важное и, конечно, ни в коем случае не по телефону.

Как будто нас мог подслушать кто-нибудь, кроме них самих.

У диссидентов были разработанные, записанные и распространяемые Самиздатом рекомендации: по звонку ни в



коем случае ни в КГБ, ни в милицию, ни в прокуратуру, ни в суд – ни ногой. Только исключительно по повестке. И в повестке должно быть точно обозначено, по какому делу и в качестве кого: подозреваемого, обвиняемого, свидетеля. И я с этими правилами был совершенно согласен. Но был при этом любопытен и в любопытстве нетерпелив. И думал, что раз *они* хотят меня видеть, то своего все равно добьются, но, добиваясь, будут плести вокруг меня свою паутину, и я, ощущая плетение, не буду знать, для чего оно.

Короче, я согласился.

Не успел положить трубку, опять звонок, и тот же Захаров:

– Владимир Николаевич, у нас к вам просьба. Пожалуйста, пока никому не говорите, что вы к нам идете. А потом поступите как захотите.

– То есть как никому не говорить? Даже родственникам? После некоторой заминки:

– Нет, ну родственникам, конечно, но все-таки нам бы хотелось пока без широкой огласки. Поговорим, потом поступайте как хотите.

Тайна – первый союзник бандита. За предложением никому не говорить всегда стоит несколько целей. Во-первых, с пошедшим на тайную встречу можно делать все, что не получается при огласке. Во-вторых, обещание хранить тайну означает вступление человека в такие отношения, которыми потом можно при случае (не при каждом) шантажировать.

Поэтому я сказал звонившему, что шум заранее поднимать не буду, но и засекречивать свой визит тоже не собираюсь.

Во мне боролись и любопытство, и беспокойство, и страх совершить ложный шаг, и страх за своих близких. Хотя о себе самом я решил слишком не беспокоиться, а все же и за себя было боязно.

Должен сказать, что никаких иллюзий насчет террористической сути советского режима я давно не питал. С тех пор как сознательно пошел на обострение своего конфликта с властями, я знал, что это очень серьезно, и готов был к тому, что моя свобода и даже жизнь могут прекратиться в любую минуту. Я нисколько не сомневался в том, что для верхушки КПСС и для КГБ, называемого романтическим мечом революции (я бы назвал его топором), не существует преступлений, перед которыми они могли бы остановиться. Для них не существовало ни закона, ни морали. Их ограничивали только физические возможности, текущая политика и действительные на данный момент соображения целесообразности.

Прикидывая за них возможные варианты, я предполагал, что в данный исторический момент разнообразных форм заигрывания с Западом сажать меня, может быть, не выгодно, но придавить где-нибудь в темном углу – почему бы и нет?

20 февраля 1974 года, когда я послал свое письмо секретариату Союза писателей (на самом деле оно было адресовано вообще *им*, то есть той неопределенной структуре, ко-

торуую мы, чуждые структуре элементы, обозначали условно словами «советская власть»), я решил так. Буду считать, что сегодня моя жизнь завершилась. Бояться больше нечего. Но каждый день, который будет после сегодня, есть еще один подарок судьбы. Его следует принять с радостью, тем более что он может оказаться последним.

Такое психологическое настроение вряд ли можно считать приемлемым в нормальной жизни, но мое положение было далеко от нормального, я находился с государством в состоянии войны, а на войне психология любого человека меняется.

Всякому, кто, ступая на путь диссидентства, приходил ко мне за советом (а таких было немало), я диссидентствовать не советовал, говоря, что раз ищешь совета, значит, еще недостаточно припекло. А проявлявшим настойчивость советовал ни в коем разе не рассчитывать на выигрыш, не оставлять себе ни малейшей надежды на благополучный исход, поскольку в таком положении надежда есть слабость.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.